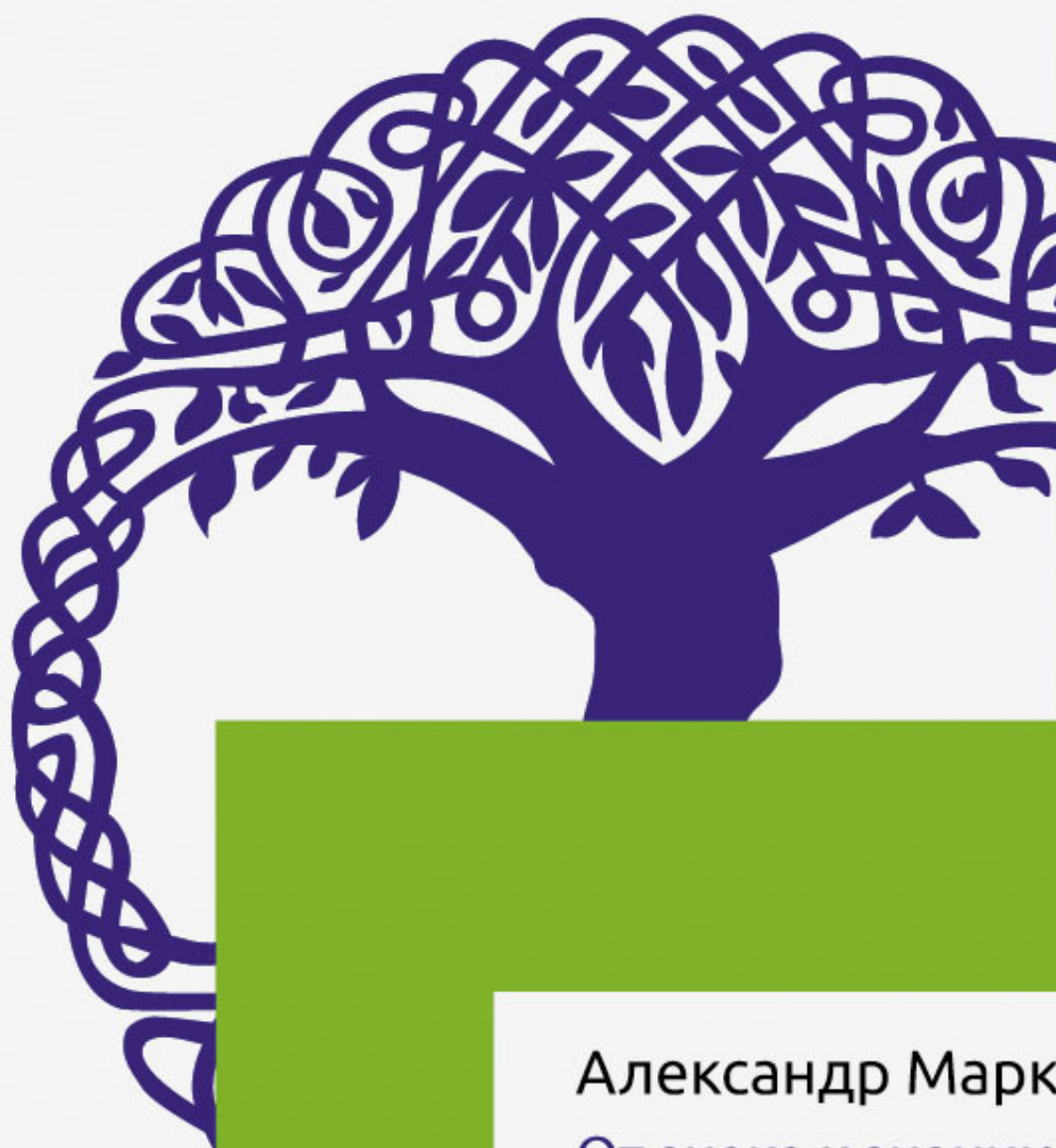




Александр Марков

От знака к знанию

Четыре лекции о том,
как семиотика меняет мир

ЛекцииPRO

Александр Марков

**От знака к знанию. Четыре лекции
о том, как семиотика меняет мир**

«РИПОЛ Классик»

2018

УДК 81'22
ББК 87.4

Марков А. В.

От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир / А. В. Марков — «РИПОЛ Классик», 2018 — (ЛекцииPRO)

ISBN 978-5-386-12188-4

Семиотика – наука для всех, живущих в современной информационной среде, и каждого, кто хочет разобраться в строении знания и искусства. Семиотика была авангардом отечественной науки и остается наиболее универсальным способом изучения культуры. Благодаря семиотике мы можем понять, как связаны язык, мышление, творчество и поиск смысла жизни. В лекциях доктора филологических наук А. В. Маркова на множестве примеров из разных областей показана актуальность и красота семиотического метода.

УДК 81'22
ББК 87.4

ISBN 978-5-386-12188-4

© Марков А. В., 2018
© РИПОЛ Классик, 2018

Содержание

Предисловие	5
Лекция 1	6
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Александр Марков

От знака к знанию. Четыре лекции о том, как семиотика меняет мир

Предисловие

Семиотика – не просто одна из важнейших гуманитарных наук, определивших современное состояние междисциплинарных исследований, сотрудничество специалистов разных областей. Это увлекательная наука, и увлекательная даже не как проза, с ее сюжетными ожиданиями, но как поэзия, с ее изумительной образностью. Позволю себе биографическую подробность: в студенческие годы я не раз уезжал в депо, с головой уйдя в «S/Z» Ролана Барта или сборник Лотмана «Внутри мыслящих миров» с предисловием Эко, по тем же причинам, по каким уезжал туда же с Пруденцием, Гийомом де Машо, Гонгорой или Целаном.

Но также семиотика – наука о том, как знаки, кажущиеся неприступными, частью «памятников культуры», оказываются здесь, прямо рядом, и не потому, что они адаптированы к нашему пониманию, но потому что они сами себя могут с избытком «переводить» и «переносить». Как написал В.В. Биbihин в статье «Детский лепет»:

«...и зрелый язык культуры и ранний язык чувства имеют одинаковую основу, которая и позволяет младенцу с такой смелостью брать в свои руки инструмент взрослой речи в уверенности, что он сможет им пользоваться».

В лекциях по большей части и будут описаны механизмы этого перевода и переноса, уже не только для младенческого опыта, но и для взрослого, так что и время прожитой жизни, и продуманное, и прочитанное тоже легко включаются в семиотическую игру. Поэтому переводу и переносу, семиозису, уделяется такое большое внимание, как первым правилам игры, хотя о семиотике комикса и других подобных вещах мы никак не забываем.

Курс лекций – приношение светлой памяти Вячеслава Всеволодовича Иванова, великого исследователя, в 2005 г. благословившего мою научную деятельность. С Вами всегда оставалось слово правды, и сделанное Вами – рассвет научного знания.

Благодарности всем, кого благодарю в предисловии к курсу по теории искусства, и еще множеству друзей.

12 мая 2018 г.

Лекция 1

Что знает знак

Слово «семиотика» (или, во французской и итальянской традициях, «семиология») означает науку о знаках. Греческое «сема» – это знак, иногда могила (как мы говорим, «памятный знак», «памятник» как что-то очень значимое), отсюда известная поговорка мрачных философов «сома – сема», тело – это могила. Уменьшительная форма «семеион», значок, означала боевое знамя, или скульптуру на древке, как бы ту точку, куда смотрит все войско, чтобы ориентироваться в битве или добиться перелома в ней; но также и «печать», и «медаль», и вообще любой опознавательный знак, естественного или искусственного происхождения, что-то заявляющий и побуждающий к какому-то действию. Можно сказать, заявляющий, что все так, а не иначе, и поэтому действовать можно и нужно только так. В Евангелии это слово значит «знамение», «чудесное явление», делающее саму жизнь совсем другой, не такой, какой она была прежде. Как у Пастернака: «И осень ясная, как знамение, К себе приковывает взоры» – осени еще предстоит наступить, еще август, но ее пророчество уже исполняется, жизнь уже не может быть прежней.

Уменьшительная форма была выбрана для названия науки по простой причине: слово «сема» не имеет значения признака, тогда как «семиотика» всегда исходит из признаков и далее движется к сути. Так действует «семиотика» как раздел медицины: распознает симптомы заболеваний и по малейшим признакам судит о качестве заболевания. Но мы будем заниматься не медицинской семиотикой, а семиотикой как гуманитарной и даже, как увидим, социальной дисциплиной.

Греческому слову «сема» или «семеион» соответствует одно латинское слово *signum*, имевшее все те же значения от боевого знамени (откуда наш «сигнал») до значка на одежде, и от указателя до вообще любой вещи, которая что-либо значит в нашей жизни. Это слово могло приобретать сколь угодно широкое значение: например, блаженный Августин называл словом *signum* вообще любую вещь, так как она сотворена Богом и поэтому служит знаком его воли. При этом Августин считал, что мир вещей, как и библейский текст, подлежит некоторым правилам интерпретации, и знаки поэтому могут быть вполне прочитаны и распознаны.

В средневековой мысли знаки, по заветам Августина, изучались не как часть нашего мышления, но как часть реальности – поэтому средневековая наука вполне может быть вписана в современную семиотику. Так, Роджер Бэкон, мыслитель высокой схоластики XIII век, разделил все знаки на «знаки природы» и «знаки для природы»: если петух кричит на рассвете, то это знак природы, сама природа заявляет о своем торжестве через петуха, тогда как если петух кричит курам, что он нашел пищу, то это знак для природы. Еще за полтора века до него Петр Абеляр, тот самый который с Элоизой, назвал знаками «да» и «нет», тем самым показав, что знаки не только рассказывают о реальности, но и включают и исключают реальность, влияя на качество ее присутствия как таковой. Главное средневековое определение значимого-звучащего слова как «знака понимания» (*voces sunt signa intellectuum*, сказанные вслух слова суть знаки интеллекций) утвердило статус знака как способа понять не только понятое, но и само понимание: ведь и сейчас наравне со знаками для вещей существуют логические или математические знаки.

Хотя семиотика как наука – достижение XX века, практической семиотикой занимались многие мудрецы. Еще античные евреи, чьим родным языком стал греческий, от греков узнали, что буквы могут значить числа, а из своей собственной традиции – что мир построен на определенных мерах и закономерностях. Соединив эти два знания, они получили каббалу – полу-

магическое учение о том, что раз мир измерим, то значит, знание букв и правильное их употребление позволяет менять мир, внося в него новые смысловые параметры.

Около 1300 года святой Раймунд Луллий, мудрец с Майорки, бывший трубадур из аристократов, после неудачи в любви (как и положено трубадуру, он был влюблен в замужнюю женщину, но когда добился взаимности, оказалось, что воспетая им белая грудь изъязвлена тяжелой болезнью) принявший монашество и основавший первый в Европе институт иностранных языков, создает логическую машину, позволяющую производить только истинные суждения. Она представляла собой круг, разделенный на секторы, в каждом из которых писалось какое-то понятие и производные от него. Например, Бог-божество-божественный, Благо-благодать-благодать, Истина-истинность-истинный. И можно было, проводя хорды, получать развернутые суждения об устройстве божественного мира. Луллий утверждал, что он увидел свою машину во сне и что ее использование отучит людей врать и докажет всем истины христианства. Хотя вроде бы машина Луллия напоминает схемы каббалы, как устроена вся истина Бога и мира, но он открыл то, чего в каббале не было, но что важно для современной семиотики и лингвистики: различие между синтагмой и парадигмой. Синтагма – последовательность элементов, позволяющая получить смысл в конце этой последовательности, тогда как парадигма – ряд элементов, из которых внутри каждой отдельной синтагмы используется только один, который и наделяет синтагму смыслом. Любые несколько секторов круга Луллия образовывали синтагму, тогда как внутри сектора оказывалась парадигма. Различие между синтагмой и парадигмой мы видим также, например, в астролого-магических календарях эпохи Возрождения, например, на фресках Палаццо Скифаноия в Ферраре, где триумф каждого месяца соотношен с конкретными успехами правителя, и значит, ход месяцев ведет правителя ко все большим успехам.

Около 1800 года круг Луллия возродили Гёте и Шиллер. Гёте отрицал учение Ньютона о природе цвета, по его мнению, лишавшее природу характерной глубины, и считал, что каждый цвет имеет свой характер, свой темперамент и нрав; и как у человека нрав образуется в тени обстоятельств и других людей, так и цвета получаются от затухания или оседания света. Вместе с Шиллером они решили приложить эту теорию к созданию характеров для романов и драм и нарисовали круг, внешнее кольцо которого делится на четыре сектора: «фантазия», «разум», «рассудок», «осмысление», от холодных к теплым и обратно к холодным цветам, а внутреннее кольцо уже из шести секторов: «необязательный», «красивый», «вечный», «хороший», «нужный», «общий». И тогда можно создавать героев, например, фантазера, который по мере возрастания горячности начинает любоваться собой и поэтому становится менее обязательным, или разумного человека, который, полюбив, находит в своей и чужой прежней красоте начало вечности, или рассудочного человека, который хороший, но, охлаждая свой пыл, понимает, как стать нужным людям... продолжайте дальше сами. В общем, готовые характеры, которые точно в приключенческой книге будут как живые. Так практическое использование знаков развернулось оживлением литературных героев.

Следующий этап развития практической семиотики связан с появлением идеи программируемой машины, способной производить высказывание не только при комбинировании, но и при декодировании. Одним из таких семиотиков-практиков был монах-иезуит, эрудит и полиглот Афанасий (Атанасиус, Анастасиус) Кирхер (1608–1680). Он больше всего известен как изобретатель волшебного фонаря: собираясь организовать проповедь христианства для китайцев, он счел, что китайский язык совершеннее европейских, потому что сочетание звуков и соответствующий рисунок выражают целую идею, понятие или даже рассказ (кстати, именно из-за невнимательного чтения Кирхера, не дальше корешков, занимавшегося и Китаем, и Египтом, китайские идеограммы стали называть «иероглифами», что неграмотно: «жреческая резьба», как переводится это слово с греческого, могла быть только там, где было образцовое для греков жречество – в Египте). Поэтому китайцев не возьмешь просто текстом Евангелия, в переводе на китайский сразу будет видно убожество европейских языков, где нужно

употребить много частей речи, чтобы высказать смысл. Кирхер поэтому понял, что нужно усовершенствовать китайское, чтобы быть убедительным для китайцев: он взял китайский театр теней, прибавил к нему яркость красок иезуитского «сакрального искусства», религиозной плакатной живописи, и что получилось? – волшебный фонарь!

Но Кирхер решил пойти дальше и создать всемирный язык по образцу китайской письменности. Он исходил из того, что китайская идеограмма обозначает как фактические, так и логические отношения между вещами. Значит, нужно посмотреть, как вещи соотносятся друг с другом фактически, например, по принадлежности к общим родам, и как соотносятся логически, например, могут ли они противопоставляться или заменять друг друга. Так произведя переучет всех вещей мира, можно создать совершенный язык, в котором идеограмма или сочетание звуков будут выражать место вещи среди Других вещей и правила взаимодействия с Другими вещами. Язык, созданный Кирхером, напоминал наше «Вася + Маша = любовь» или подобные выражения одновременно предметов и их отношений в одной формуле, благо, здесь могут широко использоваться идеограммы: слово «любовь» мы легко заменим на пронзенное стрелой сердце, и ничего не изменится.

Единственное, Кирхер забыл, что личные имена тоже должны быть, и поэтому никто не смог ответить на его письма: вежливые коллеги не знали, как правильно на всемирном языке обратиться к нему по имени. Следующим таким создателем совершенного языка стал Готфрид Лейбниц, учитель Христиана фон Вольфа, учителя Михаила Ломоносова. Лейбниц соединил логическую идеографику Кирхера с представлением об ограниченности и гармонии категорий: если у Кирхера они ветвились, то у Лейбница ложились в ровные квадраты. Вероятно, вдохновением для него был проект его учителя Эрхарда Вайгеля, который создал для себя первый в истории «умный дом» из комнат-кубиков, где само регулировалось тепло и освещение. Вот Лейбниц и стал укладывать все понятия в домики. Поэтому если семиотику Кирхера можно назвать семиотикой историй, то семиотика Лейбница – семиотика логики, исследующая, как устроено то, что уже имеет идеальную геометрическую форму соотношения всех смыслов. Именно поэтому Лейбницем так много занимался в XX в. Жиль Делёз, французский философ, утверждавший, что принцип начального различия, а не принцип бытия, и есть единственный философски приемлемый принцип организации мира, не подавляющий свободу человека.

Идеальный семиотический объект – это, например, картинка с подписью, жанр, возникший в эпоху барокко. Вот, например, одна из картинок «Эмблем и символов» Амбодика, употребленная как рисованный эпиграф к одной из глав «Столпа и утверждения истины» Павла Флоренского (о нем мы еще много будем говорить): в круге утес, поднимающийся из волн, а подпись «В непогоде тих». Картинку без подписи мы примем за простой пейзаж, и мысль о тишине будет внушать разве ее общее настроение. Но и подпись без картинки ничего не значит, кроме того, что характеризует чье-то индивидуальное ничем не мотивированное поведение. Тогда как связь картинки и текста сразу выстраивает систему мотиваций: утесу хорошо быть не потопленным морем, поэтому ему лучше тверже стоять, чем обрушиться, а значит, мы и в своей жизни должны найти, как связать твердость намерений и спокойствие, выдержку и умеренность в поведении.

Современная семиотика имеет два источника, и оба они – из первых лет XX века.

Американский философ Чарльз Сандерс Пирс опубликовал тогда серию статей, в которых обосновал изучение знаков как отдельную науку, а Фердинанд де Соссюр читал «Курс общей лингвистики», книгой изданный посмертно. Эти исследователи друг с другом не общались, принадлежали совсем разным академическим мирам, но они сходились в одном: знак – это самостоятельная реальность, которую нужно отличать как от реальности вещественного мира, так и от реальности психики. Тем самым семиотика изначально, как и многие интеллектуальные достижения начала XX века, возникала как критика психологизма – убеждения,

что наши отношения с реальностью исчерпываются психическими реакциями на нее и что эти реакции можно поставить под рациональный контроль. Семиотика доказывала, что кроме мира реакций есть еще мир вполне самостоятельно действующих значений.

Чарльз Сандерс Пирс принадлежал к крупнейшей тогда американской философской школе – прагматизму. Слово «прагматизм» нельзя понимать в бытовом смысле, как решение практических задач или искание пользы и выгоды. Это философия, согласно которой законы отношений с вещами и законы отношений с идеями примерно одинаковые: мы можем оценивать идеи так же, как оцениваем вещи, и совершать операции с вещами на тех же основаниях, на которых выполняем операции в уме. Прагматизм противостоял чрезмерному пафосу оценивания, который вел к перевесу эмоций над разумом и мешал оценить реальность. Нужно было научиться относиться к мыслям так же внимательно и бережно, как к вещам.

Но именно здесь Пирс задумался: если мы осторожны с каждой вещью, то значит, она нам подсказывает эту осторожность. А следовательно, будучи внутри употребления вещь, в логике высказывания она становится знаком, который выдает, выговаривает свой смысл для нас. Но такое выговаривание смысла, как в практике познания, так и в практике пользования языком, не может быть разовым, но должно представлять собой некоторую последовательность, явно регламентируемую больше формами самих знаков, чем нашим желанием быть последовательными.

Пирс разделил все знаки на три большие группы, чтобы объяснить не только свойства самих знаков, но и их способность делать нашу коммуникацию реальной и соотносящей нас с реальными вещами. А именно, это «икона», «индекс» и «символ». Икона требует сходства знака с изображаемым предметом, индекс указывает на него, как симптом или признак, тогда как символ создан договоренностью между людьми, и непонятен тем, кто вне этой договоренности.

Несколько примеров. Для обозначения мужского и женского помещения можно употребить схематичные фигурки мужчины и женщины (икона), можно изображение мужского ботинка и женской туфли на каблучке (индекс), а можно знаки Σ «щит и копье Ареса» и $\wedge$ «зеркало Венеры» (символ) – они понятны только тем, кто косвенно наследует античной мифологии и астрологии. Или можно обозначить школу по-разному: фотографией здания школы (икона), изображением школьной формы (индекс) или официальным логотипом школы (символ). В данном примере все три обозначения ненадежны: не все опознают школьные здания среди Других зданий безошибочно, не все отличат школьную форму от офисной и не все правильно прочтут логотип школы – получается, что все три типа знака культурны, а не природны.

Слово «икона» (от греческого «эйкос» – похожий) подразумевает внешнее сходство. Но важно, что для Пирса это внешнее сходство определяется всегда без всякого сравнения с другим сходным изображением. Среди двух портретов мы можем выбирать, какой более «похож», но икона принимается как похожая без каких-либо сравнений или обсуждений. Получается, что икона – не природное явление, а уже некоторая социальная условность (мы должны знать не только, что такое школа, но и чем в ней занимаются, чтобы определить, что это школьное здание, например, благодаря пристроенному спортивному залу), и при этом определение иконы исходит из особенностей самого предмета, а не особенностей нашей процедуры познания.

«Индекс» (указатель, указательный палец) – это тоже всегда часть предмета: по дыму мы определяем огонь, по ботинку – пол его хозяина, по столу – учреждение. Здесь тоже замечательно, что строение индекса происходит не из устройства языка, а из устройства самой предметной реальности. Но при этом мы должны знать не только, что такое ботинок, но и в каких случаях какие ботинки надеваются: например, если человек думает, что ботинки носят только чиновники, он может подумать, что это комната для чиновников, а не для всех мужчин вообще.

Наконец, символ, хотя и вполне условен, тоже принадлежит вещи: он может наноситься на вещь как логотип, или закрепляться за ней, как устное или письменное ее обозначение –

устное или письменное слово всегда символ, потому что оно точно уж не похоже на свой предмет, разве что слово «му» можно считать отчасти индексом, а не только символом коровы. В стихах романа Г. Гессе «Игра в бисер» (1942) прекрасно изображен страх дикаря, человека естественного, перед системой символов, как налагающих на человека дополнительные обязательства.

Но даже в простых системах, вроде дорожных знаков, мы не всегда можем различить эти три типа. Знак «кирпич» – для одних это икона, что-то лежит и перегораживает путь. Для других – индекс, потому что одна белая балка будет скорее частью препятствия или намеком на него, чем действительно может воспрепятствовать любому движению. Для третьих – символ, потому что, скажут они, это наша фантазия, услышав название дорожного знака, превратила вытянутый белый прямоугольник в какой-то объемный кирпич или балку, каким он никогда не был. Поэтому сейчас оставим в стороне Пирса, он на нас не обидится, и обратимся к Соссюру, который выяснял свойства знаков, не подразделяя их на группы.

Фердинанд де Соссюр, изучая и сравнивая различные языки, обратил внимание на самую простую вещь: никак нельзя соотнести напрямую звук слова и его смысл. Например, хотя у стола четыре ножки, а в слове стол – четыре звука, вряд ли это случайное числовое совпадение достаточно для соотнесения. Одни и те же предметы не только в разных языках называются совсем непохоже, но и в одном языке могут быть совсем не сходные по звуку синонимы. Конечно, есть звукоподражания, вроде «гавкать» или «скрежетать», но из них не составишь язык, и они не слишком надежны: например, «гавкать» похоже на лай собаки, но уже в слове «лаять» звучит скорее ла-ла, чем песий звук. Как написал Михаил Кузмин: «Лаем лисьим лес огласился» – лай, как вы видите, растекается гладко по лесу, и о тывкании лисы мы уже думаем меньше, чем об охотничьем пейзаже.

Поэтому должно быть другое основание, связывающее звук слова и его смысл. В русском языке слово «язык» означает очень многое: и языковую способность (человеческий язык), и отдельный язык (английский язык), и любую систему условных обозначений (научный язык). Индивидуальную речь или коллективное наречие мы выделяем как то, что не обладает главным свойством языка – устойчивостью и полнотой. Мы можем описать молодежный жаргон, используя литературный язык, но не наоборот. Потом мы увидим, как гипотеза о полноте языкового выражения (надо заметить, принципиально недоказуемая) легла в основу отечественной семиотики. При этом русское слово «язык», как и греческое «глосса» и латинское *lingua* обозначало первоначально только часть тела в ротовой полости, от «лизык», то, чем лижут, как и латинское *lingua* тоже лижет, а затем греческое «глосса» стало означать в том числе пояснение непонятого слова, а *lingua* – средство общения, как в выражении *lingua franca* – «свободный язык», язык международного коммерческого общения.

Во французском языке есть три слова: *langage*, *langue* и *parole*. Первое слово означает язык как способность говорить, произносить слова и фразы. Эта способность может быть даже индивидуализированной, то, что мы называем «манера речи» (тоже калька с французского). Второе слово – язык как систему, язык какого-то народа, свой или иностранный язык, то, что по-немецки будет *Sprache*, а по-русски сейчас язык в словосочетаниях «русский язык» или «китайский язык». Наконец, *parole* – это речь, немецкое *Rede*, высказывание, разговор, разговорная речь или диалект, что по-русски «говор», но также и «речь» как употребление языка в индивидуальных прагматических целях.

Для понимания Соссюра важно, что слово *langage* может употребляться для обозначения криков животных, тогда как мы если говорим «язык птиц» или «язык обезьян», то имеем в виду обмен сигналами и указаниями, но не произведение звуков: для нас язык обезьян будет включать скорее мимику и жесты, чем их крики, тогда как по-французски это именно и только крики, звук. Можно вспомнить, как в русской поэзии употребляется слово «звук» как синоним вдохновения, причем не простого, а действенного, пересоздающего самого поэта и его

или ее отношение к произведению. Например, у Блока: «Приближается звук и, покорна щемящему звуку, молодеет душа», или у Ахматовой: «Встает один, всё победивший звук». Поэтому можно перевести *langage* как «звучащая речь», *langue* как «язык» или «речь» в смысле учебника «Родная речь», а *parole* – как «речь» или «наречие» в значении (в том числе) совершенно индивидуального наречия, такого, что и не поймешь, на каком наречии человек говорит, если говорит невнятно или непривычно для нас.

До Соссюра отношение между этими тремя словами регулировалось только официальной культурой: *langage* изучался медицински, как одно из качеств здорового человека, а иногда – диалектикой или поэтикой, *langue* – грамматикой, а *parole* – риторикой. Но ко времени Соссюра такое деление слов для области речевых явлений между разными свободными искусствами не соответствовало реальной педагогической Ирактике. Нужно было радикально обновить всю конструкцию восприятия этих явлений.

Соссюр предположил, что *langage* – слишком общее слово, и лучше всякий раз, рассуждая о звуко-смысловых явлениях, строго различать *langue* и *parole*. *Langue* – это язык как система, а *parole* – индивидуальное речевое высказывание. Если с чем-то сравнивать, то *langue* (язык) – это магазин, а *parole* (речь) – корзина с товаром. Но тогда, если речь вполне принадлежит нам, язык существует независимо от нас и как бы сам определяет, какие звуки каким смыслом соответствуют.

Но как он это определяет? В самом простом виде, по учению Соссюра, отличая от всех остальных вариантов: мы не путаем стол и стул и благодаря умению отличать звук *o* от звука *j/*, но также благодаря знанию, как устроена та и другая вещь. В русском языке слово «стол» исконное, от корня глагола «стоять», а стул – заимствование из немецкого языка. Но мы отличаем эти слова и эти вещи, еще даже не зная, откуда какое слово произошло. Тогда язык – это система отличий, а речь – использование знаний об этих отличиях.

Получается, что и звуки слов мы определяем отрицательно, отличая звучание слова стол от звучания слова «стул» или слова «стал», и предметы мы определяем отрицательно, отличая стул от стола, коровы, чернильницы или свободы воли. Тогда языковой знак – это сходжение через многие отрицания определенного звука «с» через многие отрицания определенного смысла. Когда мы научились отличать козу от овцы, и когда мы не путаем звуки в словах «коза» и «овца», тогда мы можем называть козу козой, а овцу овцой. Соссюр назвал звуковой облик слова «означающим» (*signifiant*), а смысл – «означаемым» (*signifie*). Означающее иногда называют также «звукообразом» (*sound-image*), а означаемое – «понятием» (*concept*). Бывают случаи нулевого означающего, скажем, в русском языке пропускается глагольная связка, как и нулевого означаемого, в случае рекламных и прочих «симулякров», которые рассматривал философ-журналист Жан Бодрийяр.

Другое великое открытие Соссюра – это доказательство того, что в языке есть одно различие, которого больше нет ни в каких областях бытия. Это различие синхронии (состояния системы в данный миг времени) и диахронии (изменения системы во времени из-за того, что в ней изменен какой-то элемент). Для любых других систем бытия синхрония и диахрония была бы абстракцией: ведь как можно представить миг времени, когда любые наши инструменты измерения времени фиксируют его длину, и как можно представить изменение всей системы, когда наш опыт и способности не позволяют следить за всей системой одновременно. Но язык, согласно Соссюру, это такая высокая степень знаковости, что в нем и синхрония, и диахрония становятся действительностью. Если люди вдруг перестанут отличать коз от овец (например, горожанам это не особо надо) или начнут так шепеляво говорить, что на слух не отличишь слово «коза» от слова «овца», в языке произойдет диахроническое изменение.

Возможно, Соссюра на все эти размышления вдохновила этимология слова *mot* (французское, итальянское *motto*) из латинского *muttum* – мык, мычание. Он не забывал, что слово

иногда оказывается лишь мыком, теряются его оттенки и ритуалы его восприятия, но этот мык создает новую ситуацию смыслов.

Сам Соссюр занимался не столько общей лингвистикой, сколько тем, что его захватывало с головой. В молодости он сделал открытие о той связи гласных и согласных в языке, о которой прежде и не подозревали историки языка – что в индоевропейских языках, как и в кавказских и некоторых языках Океании, существовали гортанные звуки, вроде кашля, и что их исчезновение повлияло на всю систему гласных. Таким образом, звуковую организацию языка нельзя мыслить как сочетание гласных с согласными, но как появление данных комплексов гласных и согласных при распаде или трансформации начальных звуковых движений.

А потом он всю жизнь увлекался поиском анаграмм, прежде всего в индийской санскритской поэзии. По гипотезе Соссюра, в индийских гимнах, обращенных к богам, это имя бога было рассеяно по всему тексту, складываясь из звуков разных слов в некоторый невнятный, но верный образ. Благодаря этому гимн и стал не просто ритуалом, а произведением литературы, выбалтывающим природу бога как необходимое условие поклонения ему и наполняющим богопочитание уже сбывшимися обещаниями. Можно ли найти такие анаграммы в позднейшей поэзии – большой вопрос, хотя считается, что трубадуры могли шифровать свое имя и имя возлюбленной, что иногда в народных загадках ответ содержится в звуках вопроса, например, слово «даль» эхом отдается в поговорке «куда Макар телят не гонял» (связь имени Макара с блаженством и юродством доказал В.Н. Топоров).

Важнейшей особенностью семиотики после Соссюра является различие денотата (предмета, обозначенного в речи) и референта (смысла, обозначенного в речи). Эти две вещи могут по-разному называться в различных традициях, но мы будем называть их пока так. Существуют концепции, в которых референт и денотат принципиально не различаются: например, в магии, где употребление слов в определенном порядке оказывается уже манипулированием с вещами, или же в узко позитивистской науке, которая считает обозначение причин вещей достаточным раскрытием их сущности. Но семиотика исходит из того, что это совсем разные вещи, и их различие и делает семиотику столь многогранной, живой и интересной наукой. Самая ранняя модель – «треугольник Фреге» (его он придумал для объяснения, как слово может иметь и прямое, и переносное значение) – предложена отцом-основателем аналитической школы философии: слово-денотат-референт – три вершины этого треугольника, который, согласно Фреге и Расселу, позволяет вещи быть и настоящим содержанием словесного значения.

Философским основанием семиотики стала прежде всего идея «логического синтаксиса» Рудольфа Карнапа (1891–1970), немецкого исследователя, с 1935 г. работавшего в США. Карнап утверждал, что наравне с речевым синтаксисом, соотносящим условные элементы наших высказываний или переживаний, существует логический, организующий достоверное знание, и оба синтаксиса связаны определенной структурной соположенностью, что и не позволяет нашим поспешным эмоциям или реакциям влиять на объективность научного знания.

Особый вклад в становление семиотики внес американский исследователь русского происхождения Роман Осипович Jakobson (1896–1982). Jakobson стал одним из лидеров гуманитарного знания в США вообще, известна история, как он убедил ученый совет не утвердить Набокова профессором русской литературы в Гарварде, сказав, что крупный писатель не может быть профессором литературы по той же причине, что слон не может быть профессором зоологии.

Отзыв, заметим, очень болезненный: Набоков передавал свои коллекции бабочек как раз зоологическому музею Гарварда, и оказалось, что он сам годится разве что для такого музея. Вероятно, здесь сыграли свою роль политические обстоятельства: Набоков подозревал Jakobsona в симпатиях к СССР и не разделял его восхищения русским футуризмом, тогда как Jakobson отрицательно оценивал опыт российского парламентаризма, в частности, роль отца

Набокова, и, вероятно, как авангардист, считал самого кандидата слишком бытоописателем. Но сейчас скажем, что прекрасного Якобсон сделал для нашей науки.

Прежде всего, Якобсон предложил необычную модель языковой коммуникации, представленную, например, в его итоговой статье «Лингвистика и поэтика» (1975). В этой модели выделяются шесть функций языка, каждая из которых привязана к какому-то из моментов коммуникации. На стороне адресанта, отправителя сообщения, оказывается эмотивная функция языка, не только в том смысле, что адресант руководствуется эмоциями, но и в том, что употребление языка всегда «возбуждает», побуждает к действию, заставляет что-то меняться в мире вещей или в мире отношений к вещам и с вещами. На стороне адресата, получателя сообщения, конативная функция, иначе говоря, способность языка быть однозначно понятым, исключить неправильное понимание, даже если мы сталкиваемся с омонимией слов или грамматических форм: мы не поймем «Мой дядя самых честных правил» как *«мой дядя как редактор правил работы самых честных людей» (астериском, звездочкой * в лингвистике обозначают не зафиксированные на письме грамматические варианты), хотя, например, слова из молитвы Святому Духу «сокровище благих» многие понимают как «сокровище благих людей», а не «сокровище (запас) благ».

Само сообщение располагает поэтической функцией языка, иначе говоря, его способностью привлекать к себе внимание: собственной звучностью или чем-либо еще. Не только для того, чтобы сообщение было понято, но и чтобы оно состоялось, нужна референтативная функция, другими словами, отсылка к контексту. Нужно также, чтобы сообщение пошло на контакт, – и здесь срабатывает фатическая функция языка, а именно способность языкового высказывания быть воспринятым как высказывание, а не как шум или случайный звук. Наконец, любое сообщение отличается от мира вещей и мира реакций на вещи, а значит, оно представляет собой закодированное сообщение с определенными правилами кода: и метаком-муникативная функция языка позволяет декодировать сообщения исходя из произошедшего кодирования, и кодировать в расчете на декодирование.

Нас в этой модели, конечно, удивит, что язык оказывается не просто субъектом, а творческим субъектом, а человек – лишь моментом различных самореализаций языка. Чтобы понять, как Якобсон пришел к этому, нам нужно сделать философское отступление, а вы немного потерпите: придется немного спуститься вниз, чтобы потом подняться вверх.

Далее я изложу вопрос отчасти по результатам бесед с Викторией Файбышенко, отчасти по тем сведениям, что я узнал в Высшей нормальной школе от соавторов по Словарю европейских философий. В философии семиотической концепции знака соответствует учение Гуссерля о ноэзисе (ноэзе) и ноэме. Слова непривычные, обычно остающиеся без перевода, потому что «умопостижение» и «умопостигнутое» или что-то в таком роде только запутает дело; хотя есть латинское соответствие *cogitatio* и *cogitatum*. Лучше соотнести эти слова с поэзис (поэзия, поэза) и поэма: в русском языке словом поэма стали называть большое произведение, а слово поэза осмелился употреблять только Игорь Северянин, тогда как в европейских языках поэма – это небольшое стихотворение, а поэза (поэзия) – поэтическое творчество или большое произведение.

Гуссерль поставил простой вопрос, что именно мы мыслим, когда мыслим корову: само рогатое животное, наш образ его или понятие о нем? Предшествующая философия ответа не давала, но может дать ответ слово «поэзия». Когда поэт сочиняет стихотворение о корове (поэзис), мы определенным образом ее переживаем: вдруг обращаем внимание на ее шерсть, крутые рога или большие глаза. Когда стихотворение сочинено (поэма), то для нас корова в этом стихотворении обладает уже содержанием, а не только свойствами: для нас важно, что она там пасется на лугу, греется на солнце или дает нам самое лучшее молоко. Таково же отношение ноэзиса и ноэмы: ноэзис, постижение вещи, состоит из переживаний, тогда как ноэма – из смыслов. Переживания и смыслы соотнесены, причем соотносим их не мы, потому что мы не

можем точно сказать, когда мы постигли вещь (как и поэт может сказать, что сочинил завершённое произведение, только руководствуясь взглядом извне), а сама вещь. Поэтому дальше Гуссерль уже в ноэме вычленил ядро – способность коровы представлять именно коровой даже при первых наших чувствах, это ядро в поэзии мы называем «художественный образ». В ноэзисе ядра нет – по крайней мере, не было до аналитической философии Джона Сёрла (у нас иногда ошибочно говорят Сёрль, хотя он Сёрл), который считает, что и сама направленность сознания на предмет «значима».

Первыми связали учение Соссюра об означающем и означаемом с учением Гуссерля о ноэзисе и ноэме русские формалисты. Так, идея остранения, выдвинутая Шкловским, как раз подразумевает, что переживания позволяют посмотреть на вещь со стороны, но эта возможность диктуется самой вещью, точнее, ее смысловым ядром, как и по Соссюру, смысловое ядро означаемого, идея или концепт, определяет ассоциативную связь с ним означающего.

Но формализм столкнулся с важным ограничением своего метода: можно было описать эксцентричные переживания, которые и пестовал любимый формализмом русский авангард, но нельзя было описать нормативные переживания. Вообще, анализ авангарда очень хорошо показывает, что в нем ноэзис и ноэма или поэза и поэма соотносятся как два разных мира. Возьмем для примера всем известное стихотворение Маяковского «Я сразу смазал карту будня...» (разбору этого стихотворения я обязан разговору с филологом О.Б. Кушлиной). Сюжет его реконструируется исходя из реалий 1915 г., а именно, военного кризиса. Герой пришел в ресторан и в волнении от фронтовых событий пролил вино на меню, карту (бу)дня, причем предпочел более дешевое красное вино белому из-за нехватки денег; далее, находящийся в глубоком экономическом кризисе ресторан принес ему вместо речной рыбы суррогат – морскую рыбу, выловленную на Дальнем Востоке, в китайско-японском регионе мира («косые скулы океана»), причем одноразовая тарелка тоже из экономии оказалась предназначена для «новых губ», многоразового использования. В конце Маяковский задает вопрос: могли бы вы тоже составить стихотворение из признаков современного города, указав на запущенность коммунального хозяйства во время войны, что даже водосточные трубы толком не чистят.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.